

после кончины Хомякова¹ и как меня мучило, что я не в состоянии был выразить его самому себе. Федор Иванович пришел ко мне из первых и встретил меня словами: «On érgouve ce qu'on ressentirait si on venait de perdre un organe»². Как это верно! И сколько было подобных случаев, сколько раз он, сам того не подозревая³, радовал меня, подслуживаясь мне отчетливым и художественно-верным выражением мысли или чувства, которого я сам не в состоянии был себе уяснить. Самый легкий намек вызывал в нем сочувственный отклик. К нему можно было применить без всякой натяжки истасканное сравнение души поэта с натянутыми струнами эоловой арфы, не пропускающей без отзвука ни малейшего движения в воздухе, откуда бы оно ни шло, с севера или юга, с запада или востока. Сравнение это, в применении именно к нему, было бы верно в двояком отношении, как характеристика невольности, почти бессознательности его творчества и совершенного его равнодушия к действовавшим на него возбуждениям. Ему, кажется, были одинаково незнакомы и муки и радости художественного зачатия. На днях в письме к Э. Ф. Раден⁴ я выразился об нем следующим образом: «*Ses vers lui tombaient des lèvres sans qu'il s'en donnât presque la peine de les relever ou même de les prononcer, comme un fruit mûr qui se détache à point de la branche qui l'a porté*»⁵. Каково же было мое удивление, когда я прочел почти ту же фразу в Петербургской газете. Как поэт и художник слова он принадлежал бесспорно к пушкинской плеяде, а по природе своей приходился более язычнику Гете⁶. Можно и об нем сказать:

Все дух в нем питало: труды мудрецов,
 Искусств вдохновенных создання,
 Преданья, заветы минувших веков,
 Цветущих времен упования;
 Мечтою по воле проникнуть он мог
 И в нищую хату, и в царский чертог,
 С природой одною он жизнью дышал:
 Ручья разумел лешетанье,
 И говор древесных листов понимал,
 И чувствовал трав прозябанье...⁷

Конечно, в нем не было и тени олимпийской гордости веймарского Юпитера, а был в нем неисчерпаемый источник того чисто русского благодушия, которое так однородно с христианскою любовью и в то же время так близко граничит с дохристианским безразличием к добру и злу. Впрочем в каждой душе есть глубины, недоступные человеческому суждению, и о его младенчески-свежей душе можно сказать то же, что говорится в писании о суровой душе первого между людьми завоевателя: он был поэт *перед Господом*, как тот был исполином *перед Господом*⁸. Господь и судит его — не мы.

Я перечитал собрание стихов его и долго не мог оторваться от приложенного к нему портрета⁹. Что за обилие и какое разнообразие даров в этом милом лице! Меня между прочим поразила одна черта. Русский язык никогда не был для него родным языком¹⁰; он никогда не относился к нему фамильярно, и по этой самой причине, благодаря необъективному его художественному такту, ему удалось отыскать в нем такие тонкости, такие богатства и средства, которые в нем были несомненно, но которых никто не подозревал. Сколько раз ему случалось оригинальною обстановкою слова, — по-видимому давно исчерпанного и всем коротко знакомого, освещать в нем стороны, остававшиеся в тени и ускользавшие от всех, употреблявших его. Мне рассказывали очевидцы, в какой восторг пришел Пушкин, когда он в первый раз увидал собрание рукописное некоторых его стихов, привезенное Гагариным¹¹ из Мюнхена. Он носился с ними целую неделю, и они в первый раз появились в печати в его «Современнике». Неужели ты этого не знал? В предисловии к твоему изданию сказано, что